

# Инна ДЕВЯТЬЯРОВА

## ЭТО БЫЛО В ЛЮБАВИЧАХ

Помню – был дождь. Мелкий, скудный, весь день непогодило. Гляну в окно – там желтые капли по стеклам. Морось, маета. И березонька мокнет – бела, распростерлась над крышей, ветвями тяжелые тучи цепляет. И – диво – скулят под окном. По-собачьи, замрут и опять. А береза скрывает, тиха. Будто мне и не надобно знать, кто там плачет.

В сениях темнота. Душно. Дверь захотела открыть – Ваня рядом. Строжит:

– Ты чего? Одурела? Нельзя выходить. Комендант запретил.

Смотрит боязно. В дрожь, и рукою меня за платок.

– Не пущу!

У березки зовут. Снова. Тихонько так. Говорю:

– Замолчи! Опостылел...

Озлилась. К дверям – в темноте. Открываю – и стонут опять. Под березой, и дождик все пуще.

Зовут.

Слышу:

– Гоб рахмонэс, баба Нина... Ой, гоб рахмонэс!

Голос тоненький, детский. Узнала – соседскую Ривку. Ходила ко мне за сметаной. Пуглива. И слова не выронит лишнего. Знала отца ее – лучший портной из Любавич. Аарон... Аарон Каган, портной, брал недорого, шил – любо-ладно. К нему вся деревня ходила... до немцев еще. А когда оказались под немцами...

Плачу. Туман в голове. Ваня – за руку.

– Тш-ш... дверь закрой! Полицаи увидят! Тебе-то что – с этой еврейки?

Сказал – как по сердцу ножом. Резануло, кровит.

– А свое бы дите оттолкнул? Отойди, мочи нет тебя слушать...

Березка светла. Укрывает, таит. Ветви вскинула – будто руками объяла. Я – к ней.

– Ривка, Ривка, не бойся! Пойдем со мной в дом!

Дождь солон. На щеках остывает, щекочет. А Ривка глядит на меня, и глаза ее черны.

– Баба Нина, нас двое! Я Леви взяла... убежали... мне мамка сказала – беги. В лес беги...

Дождь тихнет. Последние капли стучат, оседают о землю. Все громче... и – крики. Летят – отдаленные, страшные. Ривка бледна.

– Баба Нина, спаси! Не меня, так хоть Левика!

Тянет его за рукав. Он чумаз и испуган. Березка за ним – как стена.

– Не пойду к бабе Нине! – ревет. – Мама, мамочка!

Ветер удал. Налетел на березу, шумит. Глушит выстрелы, там, у оврага. Я помню – там скот выпасали, на поле. Трава высока, мне по пояс. И черный и склизкий овраг, весь заросший крапивой. С утра повели всех евреев Любавич. Туда, до оврага. Я помню. А нам запретили смотреть...

А теперь вот она, Ривка. Плачет. И Леви смотрит на меня, и в глазах его мука.  
Да что мы, фашисты? Детей оттолкнуть?!  
– Ваня! На руки Левика, быстро! И в дом! Ривка, тоже со мной!  
Запах пороха. Дым сизый, едкий, седой. Ветер сеет его, развеивает над крышею...  
– Мама!

\*\*\*

Ночь. Серебряны звезды в окне. Высоки, недоступны. Строги. Месяц тонок, лукав – проглянул между ними и скрылся. Не спится.

– Ривка, Ривка, мне боязно! – шепот. – Я к маме хочу. Почему ее нет? Кто мне сказку расскажет?

Скрипят половицы. Серьгой в небе месяц, остер, осуждающ.

– Тише, Левик, не плачь. Я сама расскажу. Лучше мамки. А ты засыпай... Вот... А мол из гевен... Левик...

Ночь-колоброд.

Закрываю глаза. Веки точно свинцовы. Приходит во сне: я юна. На мне белое платье. Иду через мост, подо мною река пенна, мрачна, буйна. Набегает тугою волной. Со мной Ривка и Леви.

– Про что будет сказка? – он шмыгает носом. Глаза его ясны, бессонны.

По небу бегут облака, отражаясь в реке белобоко.

– Про цадика Бешта, – на Ривке веноч из цветов, она точно невеста. Смеется. – Как он плыл в Стамбул на кафтане. Как он помолился, надел китл и поверх него – талес, проверил цицис, а потом разостлал свой кафтан на воде... – говорит она, Ривка, и взгляд ее странен.

Смотрю – и вода поднялась. Недобра и тяжела, и смыла дорогу и мост. Мы в воде, все втроем. Дымный привкус во рту. Порох. Я задыхаюсь. И вдруг...

– Леви, Леви, смотри – он плывет! – слышу.

Бурные воды. Бездонна река. Точно море, которого я не видала. Велико и пенно, и, точно корабль, плывет по нему разноцветный кафтан, а на нем – кто-то белый и строгий, и солнце вокруг головы. Ослепляет. Я жмурюсь.

Когда открываю глаза, вижу Ривку. Она не в воде, на кафтане. С ней Леви, берет ее за руку, машет рукой.

– Баба Нина, а ты? – говорит. – Поднимайся! Вставай на кафтан! Бешт спасет тебя тоже! Он добрый, он всем помогает.

Волнительно море, мрачно. Его воды шумят неотрывно. В них – голос неистовый, страшный.

– Берись за кафтан! Это будет кficas адерех, сокращенье пути! Миг – и все совершится!

И я просыпаюсь. Жужжит неотвязная муха. И месяц пропал, затаился. И кто-то скребет у дверей. Три пристука – молчанье. И снова.

Сон сгинул, как будто и не было.

– Ваня, открой! – выдыхаю. – Пришли.

Темнота – точно волны морские. Глубока, сыра, необъятна. В ней тонут шаги. Дверь со скрипом открылась.

– Сынок! – Ваня радостен. – Вот это гости ночные! Не ждали... Как там у вас?.. Нина! Семён воротился!

Я помню – сын был в партизанах, тем летом ушел. Сказал, что проведывать будет. И весточки слать. Как бы не было тяжко.

– Поешь... посиди с нами хоть...

И зажглась керосинка. Свет – желтый, скупой – заплескался, робея. Сын худ и небрит, и лицо его смурно.

– Зачем они здесь? – и рукою на Ривку.

А Ривка бедова. Спит, Леви обнявши. Бормочет во сне: «Шма Израэль... Шма Израэль Адонай Элэйну... Адонай эхад».

И я помню плывущий кафтан по воде, и фигуру на нем, в ослепительном солнце. Чудно. Станный сон, и не мой будто вовсе. Как Ривка со мной поделилась.

– Так немцы... – и Ваня мрачнеет. – Сигнали евреев к яру, там, за выпасом – и порешили. Всех. Эти спаслись. Что теперь с ними делать?

Косится на сына. Семён не отводит глаза.

– С собой заберу, – ударяет рукой по столу, – к нашим, в лес. Сбережем. А за яр эти гады ответят...

Посуда звенит. Тени, черные, мелко дрожат на стене.

– Адонай Элэйну... – упорствует Ривка во сне. – Барух шем квод малхуто лэолам вазд.

...Кто-то в светлом плывет и плывет по бездонному морю. И ясный огонь – перед ним.

\*\*\*

Выпал снег, и все сделалось белым. И береза стоит, точно в саване. Холод, мороз на окне слюдяные узоры рисует. Дверь откроешь – и стыло. Вьюжит тихонько...

Гром. Да такой, что изба задрожала. Помню – гул, лихорадка по стенам. И красное пламя в окне. Тянет, мечется. Птицы тоскливо кричат, поднялись над избою.

Я за дверь.

– Ваня! Наши пришли! Партизаны! И немцев гвоздят! Посмотри – их казармы клятушие... в пламени! Ваня, ура! Наконец-то!

И снова гремит. Запах гари и черный клубящийся дым. Высоко воздымается. Яро лютует огонь.

Суетливо трещат автоматы. Кричат по-немецки, отрывистым лаем команды. Я смеюсь.

– Получайте, фашисты проклятые! Чтоб вам пусто всем было! Чтоб в ад забрало!

Утихает. Огонь прибивает к земле. Дым унялся. Вороны на тыне сидят, любопытные, строгие. Крылья серы, точно пепел. И бусинки глаз изумлены.

Береза бела и гола.

– Нина! – Ваня потерян. – А ведь не простят нам. Узнают, что сын в партизанах, и... Может, коровой откупимся?

...Зряшны надежды.

Черен лес. Вечереет. Румяное солнце пропало, зашло за деревьями. Снег сух и хрустящ, и следами изрытый.

– Шнель, шнель! – подгоняют.

Иду. Ваня – рядом, молчит.

– Русиш швайне! Стоять! – приказали.

Косматая ель. Вся в пушистом снегу, а на ней – две вороны. Лукавствуют, смотрят на нас. Что там в мыслях вороньих?

– Ви есть помогайт партизанам! Ви есть укрывать их! – щелчок пистолета. – Герр полицай будет вас наказайт!

Немец. В серой шинели. Высок, белобрыс... и чего-то боится. Глядит на ворон. Ель раскидиста, ладна. Вороны немы.

...Страшно почерневшее небо.

– Яволь, герр оберштурмфюрер!

Я помню, вороны соврать не дадут – его звали Григорий. Григорий Печерский, сосед. Комсомолец. Отца его знала – порядочный был человек.

– Что ж ты, Гриша... – смотрю на него. Не отводит глаза. – Что ж ты, глупый, творишь... Не век мы под немцами будем. Как наши придут – что с такими, как ты, полициями, сделают? Знаешь?

Темнеет, надвинулась ночь, налегла из-за черных деревьев.

– Молчать, курва старая! – вскрик. Побелело лицо, брови сдвинуты. – Слушать еще тебя... ишь...

Заходила рука. Пистолет зол, свинцов, в нетерпении.

– Герр оберштурмфюрер... а... а-а...

Ель, заснежена, мрачна – открылась, подобно пещере. За ней – был пронзительный свет, запах моря и кто-то в белом, по небу, плыл на кафтане. Вороны к рукам его льнули, и снег застревал в бороде.

– Делай, как я – и спасешься, – сказал он. – Берись за кафтан.

Взгляд его был отчаянно тепл. Закричали вороны. Хищно, черно взлетели над ним. Их точеные клювы метались. Накрыли собою Печерского. Тьма, беспорядочность крыльев.

– А-а... глаза мои... больно... – Григорий стонал. Он сидел на снегу, и лицо его было в крови, бледно, страшно, незряче. – А-а... как больно-то... мамочки... больно...

Вороны парили. Клювы их были точно ножи. Бешт смотрел. Бешт смеялся.

– Хочу, чтоб ты жил, – прозвенело над елью. – Слепцом изувеченным. И чтобы всем рассказал, что с тобою случилось. Спутник твой – он уже не расскажет.

Невиданный свет. Разливался, теснил темноту. Белой молнией – в землю. И вот – расступилась земля, широко, как волны морские.

Необъятна. Вольна.

Крик.

Метались испуганно руки. Трещал пистолет, заполошничал... смолк.

Помню, даже сейчас – он по пояс в земле. Немец в серой шинели. Дрожит.

– О, майн готт... помоги... – и глаза его пьяны и мутны.

Шипя, наступает земля. Окружает, взхлеб, с головою. Он по маковку в ней. Только шапка наружу.

А Бешт говорит:

– Это чудо? О, нет. Это искренность. Если ты честен пред Господом, он помогает тебе. Если же нет...

И уходит. И ель затворяется вслед. Будто не было. Будто приснилось... мне, Левику, Ривке, в колючем и страшном лесу, под звенящей луною... зачем? Вот вопрос без ответа.

Оседаю на снег. Луна высока и нема.

– Нина! Худо тебе? – Ваня держит за плечи.

Луна – как вороний зрачок, любопытна, кругла. Наблюдает за лесом. Шаги. Снег шуршит под ногою. За нами...

– Мы здесь, баба Нина! – такая беспечная Ривка. Смеется. Мой сын вместе с ней. – Бешт снова приснился мне. Был на невиданной, тяжелой горе, с другою сомкнулась она по велению Бешта, а он мне на ухо шепнул, чтобы шла я к тебе... Ну не надо так плакать! Бешт злого не скажет!

Встаю. Опираюсь на сына. Качается ель, как гора. На вершине ее – белым-бело и ясно. Спит. Если это не чудо, то что же тогда чудеса – вот вопрос...

И боюсь, что при жизни ответ на него не узнаю.

#### Примечание

\* Любавичи – деревня в Смоленской области, центр религиозного хасидизма. В ноябре 1941 года в захваченной фашистами деревне было уничтожено все еврейское население, не успевшее эвакуироваться. Партизаны мстили за эту казнь, забросав гранатами немецкие казармы. По свидетельствам очевидцев, в расстрелах евреев, партизан и им сочувствующих принимали активное участие и некоторые местные жители, ставшие полицией при новой власти.

\* Раби Исраэль бар Элизер Бааль Шем Тов (Бешт) – основатель хасидского движения. Считался великим чудотворцем и цадиком (праведником). Основной идеей его учения было то, что для Господа главное не ученость и следование правилам, а искренность, чистосердечность молитвы. Про Бешта еще при жизни ходило много легенд, переросших впоследствии в еврейские народные сказки. Рассказывали, что, когда он молился, от лица его исходило сияние. Что он мог пророчествовать, с абсолютной точностью зная, что случится с каждым из тех, кто к нему обращался. По одной из сказок, когда он в глубокой задумчивости стоял на вершине горы и шагнул с нее в пропасть, вершина другой горы приблизилась к Бешту, и он перешагнул на нее. Другая сказка гласит, что он совершил путешествие по морю в Стамбул на кафтане и даже спас таким образом тонувший неподалеку корабль – привязав рукав своего кафтана к якорной цепи корабля. В третьей сказке рассказывается, как он с помощью молитвы вогнал разбойника в землю сначала по пояс, а затем с головой. В четвертой – по молитвам Бешта, к врагу его спустились два коршуна и выклевали глаза у врага.

\* Гоб рахмонэс – в переводе с идиш «имей жалость».

\* А мол из гевен – в переводе с идиш «жили-были».

\* Шма Исраэль Адонай Элэйну Адонай эхад. Барух шем квод малхуто лэолам ваэд – начало молитвы в иудаизме: «Слушай, Израиль: Господь – Бог наш, Господь один! Благословенно славное имя царства Его во веки веков!»

\* Кипта – белое полотняное долгополое одеяние, надеваемое набожными евреями в особых случаях.

\* Талес – молитвенное покрывало, накидываемое поверх одежды мужчинами во время утренней молитвы. К углам талеса в соответствии с заповедью привязаны четыре кисти, называемые цицис.